



Мария БАРЫКОВА

САДОВНИК

Мария Барыкова

Садовник

«Автор»

2007

Барыкова М.

Садовник / М. Барыкова — «Автор», 2007

Кодом для расшифровки повести «Садовник» служат строки из этого же текста: «настоящие произведения могут быть созданы лишь людьми с обнаженными нервами... здоровые телом и духом неполноценны творчески и... бездна зла всегда заманчивей невысоких горок добра». Да, Барыкова выбирает зло. В этом выборе она, конечно, первопроходцем не является. Лидерство ее в другом: в обнажении нервных окончаний «духа разрушенья» и сознательно дерзком использовании их в качестве элементов текстовой структуры.

© Барыкова М., 2007

© Автор, 2007

Содержание

1	5
2	7
3	10
4	13
5	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Мария Барыкова

Хортуланус (Садовник)

«Алхимик – крестьянин, корпящий над тем, чтобы довести свои семена до золотой спелости».

Жак Садуль

1

В первое полнолуние, наступавшее после осеннего равноденствия, когда луна теряла свою зловещую красноту и становилась похожей просто на тыкву, посеребренную октябрьским заморозком, мне много лет снился один и тот же сон: в голубоватых потоках света над резными верхушками дубов, то исчезая, то образуя густой рой, вьются смеющиеся крошечные ведьмы, имя которым – тьма. И сон этот всегда сбывался; каждый раз происходило нечто, вновь подтверждавшее мою причастность к темным сторонам бытия. Поначалу я пугалась, не желая подобных свершений, но с годами почти привыкла – и уже не жалела тех, над кем загадочным образом сказывалась моя власть. Более того, я почувствовала бы себя совершенно опустошенной, если бы однажды это прекратилось. Впрочем, будучи с самого рождения ярко и весело жизнелюбивой, я специально не задумывалась ни о происхождении сна, ни о причинах, по которым девочка из старинной петербургской семьи, незаметно оказалась по ту сторону добра.

Первыми словами, которые я твердо запомнила, были «ты должна» и «Лермонтов»; таинственное их сплетение, фантазмагория смыслов и холодный прозрачный огонь, что таился под формальной коркой этих шести слогов, увлекли мою жизнь совсем в иную сторону, чем, скорее всего, предполагали родители. А в первую очередь – бабушка, как раз и бывшая источником двух этих непререкаемых понятий. Сначала они находились по разные стороны моей сознательной жизни даже формально: темно-зеленые прохладные тома стояли у дальней стены голубой спальни, а железное долженствование возникало при входе в гостиную у красных с золотом портьер. Я уже не говорю о том, что «ты должна» крепко привязывало к реальности, приковывало к длинной цепи предков, упорно менявших беззаботное благополучие на служение России – и делало взгляд суше, дыхание короче, а спину прямее. А «Лермонтов» дышал влагой, его пропыленная шинель пахла солнцем, морем и полынью, и он давал возможность летать в темных облаках, откуда-то снизу подсвечиваемых лиловым. Но долг оказывался – высоким, Лермонтов – суровым и даже жестоким, расстояние между двумя понятиями становилось все меньше и меньше, пока однажды, на самом пороге юности, они вдруг не взвихрились и не закружились вместе, в пьянящем потоке собственной возможности стать, сделать, перешагнуть...

О, если бы в тот момент мудрая жизнь указала мне иной путь! Но она, напротив, лишь укрепляла мои порывы. Сорокалетний подвижник, которого я любила со всеми безумствами пятнадцатилетней экзальтированной, литературной и неглупой девочки, внушал мне, что любовь и быт несовместимы, что сильная натура – это человек без меры и что подлинная страсть оправдывает все. И каждое утро, проплывая в набитом автобусе над угрюмой Невой, я в упоении шептала теперь уже не помню чьи строки о том, как «науку, любовь, государство, права, религию, гений, искусство – все! все превратил он в пустые слова, насилуя разум и чувства...» Правда, после этого во рту оставался бумажно-неживой привкус некоей базаровщины, но я знала, что совсем скоро, после шестого урока, он будет смыт сладким и властным языком возлюбленного.

Уже тогда обыкновенные люди и обыкновенные чувства становились мне неинтересны. И уже только те или то, в чем потаенно тлело пламя нездешности, избавляли от пресного ощущения во всем теле, во всей душе. А кто ищет – находит. Жизнь стала бесконечным романом, страницы и главы которого сами расцветали под чьим-то пером, безо всякого усилия с моей стороны. Я научилась быть готовой, раскрытой навстречу неминуемо случающемуся, и, устремленная лишь в будущее, никогда не перечитывала прошлого. Но жадная смена страниц подобна наркотику. Порой, не дочитав абзаца, я бросалась дальше, оставляя так и не понятыми людей, события и собственные чувства. Может быть, именно на этом и держалась моя власть над людьми, стремившимися раскрыться и не достигавшими конца? Не будучи автором своей жизни, я все же владела ее персонажами, и жаркие токи бились в крови, не давая передышки ни мне, ни тем, кто имел несчастье мне поверить. А, может быть, власть моя заключалась всего лишь в тайном превосходстве порочности?

Впрочем, луна, опасаясь порезаться об острые ангельские крылья, не так часто показывалась на нашем тяжелом небе.

2

То лето было слишком жарким, и в полуденном мареве казалось, что даже мосты, изнемогая от зноя, потеряли свою знаменитую упругость и бессильно провисают над равнодушной и холодной Невой. Заниматься любовью можно было лишь вылив на паркет пару кувшинов воды, предварительно выдержанных в холодильнике, а залы Публички напоминали общественные бани. Поэтому изматывающим июньским вечером я решительно заявила мужу, что больше не могу, и назавтра в душном белесом рассвете уже шла от шоссе напрямик в ту ложбинку, которая лежит между Пулковскими и Дудергофскими высотами. На этом крошечном участке земли так много замешано на крови для любого причастного смыслу бытия жителя моего города, что, погруженная в прошлое, я шагала, не замечая ни жары, ни рева взлетающих рядом самолетов и удивляясь желанию Никласа приобрести дачу в столь странном месте.

Никласа я знала с детства, с одиннадцати лет. Это он рассказал мне, что найденные нами на берегу залива непонятные штучки – вовсе не резинки на палец, дал прочитать Конан Дойля и научил играть в богов, сумев таинственным образом организовать весьма серую компанию санаторных детей, вряд ли вообще подозревавших о существовании Олимпа. Однако себе он всегда благородно брал лишь второстепенные роли, вроде бога смеха Гелоса или бога плача Иалема, с первого раза шепнув мне при дележке, что можно наплевать на кажущиеся преимущества Афродиты и надо требовать себе Афину. Впрочем, на последнюю никто особо и не претендовал. А спустя полчаса я мягко, но твердо уже руководила и верховной парочкой. За это и за многое иное я долго любила Никласа дружеской любовью – до тех пор, пока на экскурсии в Лицее вдруг не упала в обычный пубертатный обморок и, очнувшись на царскосельском снегу, отсвечивавшем в тон стенам бирюзой, не увидела над собой потемневшие от страсти серые глаза. И в блаженный миг возвращения на землю меня больше всего поразило даже не столько его чувство, сколько этот, совсем как в романах, ставший слепым и черным взгляд. Именно в нем я впервые увидела бездну. С тех пор Никлас стал моим убежищем, оплотом и спасением всегда и во всем.

Дачка стояла совсем одиноко, не изуродованная ни сараем, ни огородом. Даже Амур, матерый кобель немецкой овчарки, названный так не в память о шаловливом мальчишке, а в честь могучей реки, жил тут на вольном выпасе и спал просто под домом. Вокруг же клубились заросли каких-то гигантских лопухов выше человеческого роста. Я с наслаждением упала на еще не нагретые доски крыльца и дала псу вылизать мои уставшие ноги; от него сладко пахло сыровой землей и сухими травками. Так, в обнимку, нас и застал вышедший на радостное собачье ворчание Никлас.

– Доброе утро. Что привело тебя сюда на этот раз?

– Только погода. Правда. В городе окончательно перестаешь чувствовать себя человеком.

– А ты разве являешься таковым? – В словах Никласа уже давно не было боли, а звучали, скорее, только забота и тревога. – Владислав знает, где ты?

– Нет. Но это и не важно, я буквально на пару дней, передохнуть.

– Ну, если ты считаешь, что способна передохнуть от самой себя – пожалуйста. Только я сомневаюсь в правильном выборе компании.

– По-моему, ты льстишь себе.

– Я совершенно о другом: ко мне приезжают всякие недоросли, которых приходится учить основам рисунка.

– Но все равно, Никлас.

– Ох уж мне этот наш российский всеравнизм! И ведь самое противное, что на самом деле тебе далеко не все – равно. Ладно, оставайся, конечно. Амуру будет настоящий празд-

ник, – Никлас криво улыбнулся неуместной двусмысленности и с неохотой закончил: – И мне, разумеется.

Весь день я провалялась в траве, глядя, как улетают в разные стороны самолеты и возясь с Амуром, при нарастании очередного гула каждый раз вздрагивавшим, как умеют только собаки, всей кожей. Никлас был прав: я приехала сюда не от духоты города, а в попытке убежать хотя бы ненадолго от обоих высоких моих чудовищ – долга и страсти, ибо Владислав, будучи наполовину поляком, сам был ежесекундно раздираем на части ими же. В первом моем муже, полукровке-еврее, долг однозначно преобладал над страстью, и плен долженствования был светел, но трудно переносим. Второй же, наполовину грузин, наоборот, практически полностью игнорировал долг во имя страсти, но это тоже не могло закончиться ничем хорошим. И, почувствовав во Владиславе мужское отражение себя, я бросилась в водоворот, не задумываясь о последствиях. А через год наша жизнь стала священным кошмаром, мистерией, поединком. Действительно, когда мы стояли друг против друга, в любовном ли, в интеллектуальном ли споре, оба высокие, светловолосые, узкие, как две отточенные шпаги, мысль о вечной дуэли приходила в голову неизбежно. Однако подобная жизнь хороша только в романах, а к тридцати годам все-таки берешься скорее за Проппа и Фихте, чем за Достоевского и Гамсуна. К тому же, я видела, что Владислав держится из последних сил и что еще одна октябрьская ночь со зловещим сном – и мне не с кем будет бороться. Но распаленная кровь торопила и требовала – и я уехала к Никласу.

Разумеется, это было ошибкой, и теперь я до самого позднего вечера, когда холмы начали понемногу терять очертания, сидела на улице, опасаясь войти в дом. Обещанные недоросли сегодня, как назло, не появились. Амур, в совершенном упоении, сидел рядом, свято поверив не ведающим сомнений собачьим сердцем, что всю эту июньскую ночь без начал и концов я так и проведу с ним.

– Может быть, ты все же поешь? – Мгновенно все понявший пес обреченно отвернул морду и, положив ее на крыльцо, прикрыл горячие тяжелые глаза.

Я шла в дом по разохшимся доскам, как на эшафот. Внутри мерцала легкая разноцветная взвесь активно используемой постели, а на заваленном бог знает чем столе стояла фарфоровая, капризно-гнутая павловская тарелка с салатом и треснувшая глиняная кружка с молоком. Никлас спокойно сел напротив и молча посмотрел на меня широко, как у бычка, расставленными глазами.

– Ну, что, как будем разговаривать: по-человечески или по-божески? – тихо и внятно спросил он.

Изобразив непонимание, я вскинула брови, выигрывая время и давая Никласу высказаться.

– Понимаешь, большинство думает, что жизнь пройдет, и то, что они скрывали, так и останется сокрытым. Но ведь это не так, это слишком земной, человеческий взгляд. Мы проживаем нашу жизнь, словно прочитываем книгу; человек умер, книга прочитана, но, согласись, она продолжает существовать, она стоит на полке, ничто никуда не исчезло... Неужели ты хочешь говорить со мной, играя и пачкая страницы?!

– Нет. Но признаваться тебе в моих действительных желаниях тоже не хочу, поскольку ненавижу то, что привело меня сюда. По крайней мере – сейчас.

– И ты уверена, что не можешь с собою справиться?

– Боже мой, Никлас, ты знаешь меня двадцать лет, неужели ты думаешь, что, если бы я могла...

– Хорошо, – поспешно согласился он. – Только не форсируй события, ладно? Не торопись... – Он неловко отвернулся, словно ребенок, который закрыв лицо ручонками, верит, что спрятался. – Ешь. А после почитай мне что-нибудь.

– Зачем ты соглашаешься!? – едва удерживая злые слезы, крикнула я. – Наши невероятные дивные двадцать лет ты вот так, не борясь, готов променять на судорожные полчаса?! Пусты, я лучше уйду, я лучше останусь на улице, с Амуром!

Никлас неторопливо поднялся и распахнул дверь.

– Иди. Иди. Но ведь ты знаешь, что все эти годы, бывшие для тебя, как ты только что выразилась, дивными, я ждал, что однажды ты свихнешься на час – и придешь. И меня уже не интересует, из-за чего ты сегодня здесь: из-за жары, или из-за страстей с мужем, или из-за того, что давно стала расчетливой сволочью. Иди спокойно, ты же знаешь, что, даже уйдя сейчас, ты сможешь точно так же вернуться. Ну?

Через раскрытую дверь мне было видно, как уже приготовился к радостному прыжку Амур; его язык дрожал и курился жаркой влагой. По блеклому небу косо проносились обрывки облаков, запутываясь в темно-зеленых глянцевиных листьях гигантских лопухов у крыльца.

– Ты говоришь глупости, Никлас. Просто сегодня действительно очень жарко, и все мы немножко не в себе. Я тебе почитаю. Сядь. Сядь сюда, что ж я кричать, что ли, буду...

И еще долго в прогретых до звона стенах металась и билась черной кровью наполненные строки стюартовских сонетов, а под утро, в тот короткий час, когда истома ночи сменяется обманчивой прохладой, Амур на крыльце завыл обиженно и обреченно.

К вечеру следующего дня я уже снова шла обсерваторским садом, обсасывая сладковатые стебли какой-то травы и с непонятным сожалением вспоминая, что так и не спросила у Никласа, как называются эти лопухи, отгородившие его дачу от мира.

3

Через неделю мы с Владиславом, как обычно, уже в постели, спорили Бог весть о чем.

Уличный фонарь, светя через лиловую гардину, делал полулежавшую передо мной мужскую фигуру окончательно призрачной – и не менее призрачно звучали в раскаленной комнате слова о том, что настоящие произведения могут быть созданы лишь людьми с обнаженными нервами, что здоровые телом и духом неполноценны творчески, и что бездна зла всегда заманчивей невысоких горок добра. Аргументы были весьма убедительны еще и тем, что именно эти надменно очерченные губы только что лежали на моих, а длинные легкие польские пальцы, терзающие теперь подушку, всего четверть часа назад столь же упорно раскрывали меня саму.

– Так не должно быть! Это какая-то хитроумная ловушка – ведь...

Но, не давая мне закончить слабые оправдания и, как это всегда бывает ночью, заставляя сердце неприятно вздрогнуть, зазвонил телефон. Чей-то незнакомый и совершенно спокойный голос уточнил, я ли это, и бестрепетно сообщил, что позавчера у автобусного вокзала был случайно застрелен Никлас. Предложив узнать подробности у матери, голос скрылся за язвящими уши гудками. Я встала и молча вышла в другую комнату.

Я знала, что Никлас должен уйти – мир не любит доброты вообще и тем более не любит, когда она хотя бы на мгновение сходит со своего пьедестала. А Никлас в ту ночь, уступив мне, сошел. И оправдания мне не было. Но жалкий разум, пугаясь смертельной пустоты, нараставшей в теряющей опору душе, продолжал возиться и скрестись в попытках найти хотя бы что-нибудь, дававшее возможность жить дальше. Нести в одиночку тяжесть ответственности за смерть невыносимо – и спустя какое-то время мои мысли вернулись к матери Никласа, о существовании которой первые лет десять нашего общения я как-то даже и не подозревала, да и потом она долгое время оставалась для меня абстрактной фигурой.

Но теперь я вцепилась в нее с отчаянием и злобой проигравшего. Она не меньше, чем я, виновата в его уходе! Она не дала ему того самого главного, что каждая мать должна дать на этой земле своему мальчику – кровной связи с миром. Он был не нужен ей ни духом, ни плотью, и потому не был ею ни храним, ни удерживаем. Я вспомнила ее обдуманно-небрежную стильную квартиру, где ему с его сумасбродными увлечениями никогда не было места. Вспомнила ее бурную личную жизнь, в которой он с детства неизбежно оказывался лишним, и ее наигранную простоту, которая не выдерживала сравнения с его естественностью. Теперь, под старость, она, наконец, вздохнет спокойно... Впрочем, какая старость? – помнится, Владислав, увидев ее впервые, подумал, что эта ухоженная женщина – сестра Никласа, а не мать. И так, мать. Мать и я, а не наоборот. Правда, жить от этого не стало легче, но стало возможно дышать. Я смогла закурить и, вернувшись, сказать Владиславу:

– Никлас умер. Позвони кому-нибудь.

Ответом мне было вспыхнувшее ненавистью лицо.

– Это все ты, ты! О, Господи, пся крив...

А я не могла сказать в лиловые глаза: «Неужели ты не понимаешь, что иначе на его месте оказался бы ты?» – хотя, быть может, говорить это было уже излишним.

Никласа хоронили на пятый день. Он стал печальным и красивым. И крошечное темное пятно на виске делало его похожим на белогвардейского офицера. Но я все равно не могла заставить себя дотронуться до того, что уже не было Никласом. Я наклонилась над ним только на далеком маленьком кладбище, и в тускло блеснувших полосках глаз из-под поздно прикрытых век уходящим сознанием вдруг уловила все то же: принятие на себя чужой крестной муки. Так он смотрел на меня на лицейском снегу, так, сжимая мне руки, держал мое сознание и

гордость ночью во время блатного аборта в Отта, так не отвел взгляда под рев самолетов в последний раз.

Круг завершился. И луна из красноватой сделалась просто желтой.

Ближе к вечеру Владислав встретил меня у метро, и мы пошли домой самой длинной и пустынной дорогой. Я не поднимала головы, а заходящее солнце светило через ограды многочисленных сквериков Петроградской, создавая впечатление, что идешь по узким воздушным шпалам. От этого подступала тошнота и начинало рябить в глазах, но слез так и не было. Владислав угрюмо молчал, и шел, в отличие от меня, гордо закинув породистую голову. Таким странным двухголовым зверем мы вошли в малый курдонер известного доходного дома; он был сказочно пронизан золотой пылью заката, и нагретый воздух в нем дрожал и плыл. На круглой клумбе около памятника возился какой-то человек в комбинезоне, разноцветно сиявшем под косыми лучами заходящего солнца. Он был похож на ручного дракона. Я даже хотела сказать об этом Владиславу, но, перехватив мой взгляд, он взорвался:

– Ну почему Никлас?! Никлас! Эта несправедливость в конце концов обесмысливает все! «Цицерону отрезывается язык»? Сколько ходит по божьему свету всякой дряни, ничтожеств, бесполезных и ничего не создающих людей! Ну почему судьбе хотя бы раз не открыть глаза – и не выбрать вместо него хотя бы вон этого работягу! – Владислав почти со злобой мотнул головой в сторону копошившегося на газоне дядьки. – Нет, это невыносимо, невыносимо, ибо бессмысленно!

Мы как раз проходили мимо клумбы, и запах свежей земли, на мгновение став весомым и острым, заглушил все остальные запахи.

– Как раз он-то, насколько я понимаю, что-то и создает, – тихо сказала я, торопясь пройти побыстрее, потому что человек, услышав тираду Владислава, приподнял черную взлохмаченную голову. – Извините, – невольно вырвалось у меня, и еще пару долгих минут мне было весьма неприятно, поскольку на лице рабочего, за мгновение до того напомнившего мне дракона, я успела прочесть явную укоризну и даже хуже – снисхождение.

Потом всю бесконечную июньскую ночь, которая действует на чувственных людей, как луна на лунатиков, мы пили и занимались любовью, ощущая себя рядом с раскрытой могилой. Утром же Владислав, всегда знавший об отношении Никласа ко мне, взял меня за покрытые синяками плечи и, словно продолжая вчерашнюю мысль, отчетливо произнес:

– А еще лучше, если бы вместо него оказалась ты.

Я и сама это знала. Но сейчас мне было все равно, потому что еще ночью, среди незатишающих стонов и, наверное, благодаря им, я вдруг вспомнила про оставшегося на даче Амура. Кто мог о нем позаботиться среди суеты с прокуратурой и похоронами? И ужас при мысли о ничего не понимающей, всеми покинутой собаке заставил меня молча одеться и броситься бегом – скорее к той узкой лошине. Двух жертв я не просила.

Проклятые лопухи за неделю выросли еще больше. Не увидев Амура на крыльце, я с отчаянием продиралась меж ними, уже готовая найти пса холодным, понимая, что воспитанность не позволит ему умереть на виду.

– Амур! Ну, откликнись же, Амур! Амурушка! – рвущимся голосом кричала я, даже не сознавая дикости ситуации; в пустом, заброшенном месте взрослая женщина с надрывом и тщетно все кличет и кличет лукавого бога любви. Я вернулась к дому и села прямо на землю у стены, в бессильной злобе ударяя по ней кулаком. Лопухи оказались какими-то ядовитыми; кожа от них на руках и ногах горела, как от кислоты. Но тут, словно в ответ на мои удары, под домом послышалось какое-то движение – и оттуда вылез, весь в колтунах и колючках, Амур и, шатаясь, подошел ко мне. Закрыв глаза, я почувствовала успокаивающие касанья зернистого

языка, а потом тяжелая голова уткнулась мне в колени так, словно это был конец и венец всего нашего земного пути. Облегченно обняв податливую шею, я, наконец, смогла заплакать.

4

Разумеется, я привезла пса домой, и, разумеется, Владислав, несмотря на внешнее недовольство, был даже рад. Он никогда не давал мне повода заподозрить его в нелюбви к животным – хотя я так и не забыла вертлявого крысенка, когда-то и кем-то мне подаренного и в мое отсутствие, якобы случайно, раздавленного передвигаемым пианино. К несчастью или наоборот – случайностей в жизни нет – животные оказывались слишком живыми для него, слишком нарушали условия того мира, в котором он жил. Его мир жестокого долга и неизбежного в таком случае двойника – жестокой страсти – был не реален, то есть мертв. И чем дольше я жила с Владиславом, чем угарнее любила, тем явственней понимала, что единственный способ остаться с ним навсегда заключается в необходимости всего лишь перешагнуть последнюю черту... и что, быть может, я уже неявленно перешагнула ее смертью Никласа. Но все-таки я была еще слишком живой, и потому схватилась за Амура как за последнюю оказанную мне милость. Владислав считал, что я вожусь с собакой в память о Никласе или, по крайней мере, стараюсь искупить какую-то там вину, но я просто жила Амуром, я дышала им, ибо сейчас он был тем единственным, кто ежеминутно доказывал мне существование жизни вне любых рефлексий и химер.

К счастью, работы летом было немного – жара, видимо, окончательно размягчила мозги тех графоманов, из текстов которых мне предписывалось делать что-то доступное не только чтению, но и пониманию, – и я могла отдавать собаке положенные ей строгой наукой четыре-пять часов в день. Через неделю по окрестным садам и паркам у меня появились десятки милейших новых знакомых, а разношерстная хвостатая братия теперь узнавала меня на улицах даже и без Амура. Владислав, кривя рот, но темнея глазами, говорил, что от меня пахнет шерстью. «Хорошо, что не серой», – вздыхала я и демонстративно шла в ванную, до которой, правда, не доходила... Потом, наскучив одними и теми же скверами и на удивление однообразными беседами, я решила попытать счастья в более романтических местах. Ботаничка, где традиционно готовились к экзаменам многие поколения моей семьи, была совсем неподалеку, а что касается ее закрытости для собак, то ни одна ограда у нас не сохраняет целомудрия больше двух дней. И мы рискнули: Амур сам нашел место, любезно предоставленное его любопытствующими собратьями, а я тряхнула стариной и протиснулась через невинно, но призывно отогнутый прут.

Сад, как и в мои школьные годы, был хорош своей верностью временам, неведомо как сохраняющейся уже века; в нем все с той же непостижимостью соединялись суровая скромность петровских огородов, тревожная блоковская желтизна гренадерских казарм и захватывающая дух уединенность, которой, по рассказам бабушки, удачно пользовались блокадные людоеды. Словом, Ботаничка, как и Петропавловка, были моей детской, моей школой, моей вотчиной. Здесь я впервые сложила таинственные черные штрихи на глазурированных табличках в Слово – и с того времени навсегда почувствовала себя хозяйкой, несравнимо более полноправной, чем взявшиеся в последнее время невесть откуда молодые люди в сомнительной форме охранников; с бабульками я власть поделить согласилась бы.

Я щедро дарила свои владения Амуру, а он, мгновенно слившись с ролью хозяина, вежливым, но не оставлявшим сомнения рыком держал дистанцию между нами и редкими посетителями сада. Мы блаженствовали так около часа, пока из-за смородиновых кустов, густо окаймлявших медный, затянутый патиной никогда не убираемых водорослей пруд, не вышел человек в синей робе и не воскликнул – более удивленно, чем зло:

– Овчарка?! – И то, что он сказал именно «овчарка», а не «собака», сразу расположило к нему не только меня, но и Амура, который в нарушение своих принципов тут же подбежал и принялся с интересом обнюхивать черные от земли штанины. – Ну что, запахи действительно

упоительные, но для тебя малоперспективные, – рассмеялся человек в робе, беспечно пронеся руку мимо внушительной пасти, в теплую шерсть незащищенного собачьего горла. – И все-таки это не дело – тебе здесь прогуливаться! Давай-ка, парень, двигайся к выходу.

Удивленная столь человеческими речами, я постаралась скорей взять Амура за ошейник; говоривший поднял голову, и я начала предательски краснеть: он оказался тем самым драконом, которого Владислав так глупо унижил пару недель назад. Теперь мне в лицо смотрели те же глаза, с точно таким же выражением обвинения и прощения одновременно.

– Извините, – пролепетала я, – мы... собака выгулена, мы только побегать...

– Я понимаю, – мягко остановил он, – у меня у самого красавец, но ведь и вы прекрасно понимаете, что ежели так поступать будет каждый... правда?

– Правда. – Я прижала к ногам Амура и неизвестно зачем брякнула: – Вы извините, что тогда мой муж... он не хотел вас обидеть, просто была такая ситуация, у нас умер друг...

Человек на секунду свел лохматые брови – из левой завивался длинный черный волос – и, по-видимому, только тогда вспомнил меня. Вернее, не меня, а случившееся. Но не нахмурился и, в отличие от меня, не покраснел – улыбнулся.

– Случай не стоит того, чтобы помнить о нем так долго. Ваш муж был прав относительно работяги. – Значит, он помнил и помнил очень хорошо, и, значит, тогда ему было неприятно. Я уже злилась на себя за бестактность затеянного разговора.

– Все равно. Извините, пожалуйста, – твердо повторила я. – Мы уходим. – И, отпустив Амура, пристыженно державшего хвост вертикально вниз, повернулась в сторону главного входа.

Я шла, деревенея спиной и чувствуя, как сторож – или кто там он был – неотступно идет за нами, деликатно оставаясь невидимым. Мы уже миновали каменные ворота оранжевей, в рассыпающихся ступенях и стершейся дате которых вздыхали античность и мое детство, и вышли к горкам. Они, как обычно, весело пестрели лоскутным одеялом, но по ним, подобно черному пауку, медленно и в то же время как-то суетливо передвигалась невысокая фигурка. Амур неуверенно приподнял загривок, сбавляя шаг, и, держась бок о бок, мы подошли поближе.

Фигурка при ближайшем рассмотрении оказалась седоватым старичком в пасторском балахоне, совершавшем весьма странные действия. Вместо того, чтобы поливать, или полоть, или рыхлить, он переползал от цветка к цветку, при этом напряжено всматриваясь в асфальтированные узкие дорожки, оплетшие горку. Иногда он нагибался и делал руками движение, будто ловит кого-то, а порой останавливался и крестил растение откровенным протестантским крестом. На миг мне почудилось, что я сплю, но поношенные туфли старичка с большими медными пряжками отчаянно скрипели. Мы сделали еще несколько шагов, и услышали уже совершенно явственно:

– Nun, nun... Пфуй, как нехорош! Иди-ка суда, Weglaufer! – Старик снова наклонился, но тут же проворно вскочил и хлопнул себя по лбу. – Allmachtigen Gott! Час пополудни, а меня ждать Штеффель и его двести штук букшбому! – Продолжая невнятно бормотать что-то по-немецки, старик подхватил подол потертой сутаны и скрылся за горкой.

Но на месте, где он только что был, еще продолжал волноваться голубоватый воздух.

Амур прижал уши и мужественно не двигался. Я беспомощно оглянулась.

И, словно на мой взгляд, из-за угла оранжевей появился сторож.

– Все в порядке, – улыбнулся он. – Это старик Вильгельм ловит курioзные планты. Они, мерзавцы, видите ли, до сих пор имеют склонность убежать за положенные им пределы. Чесночница, недотрога, не говоря уже о дикой ромашке, которая заполонила всю Россию... Вот он и переживает. К тому же, понимаете, немецкая Punctlichkeit... – Мы с Амуром растерянно молчали, а дядька несколько нервно оглянулся и вдруг предложил. – Пойдемте-ка лучше со мной – зачем вам неприятности? А так вы выйдете прямо к Кублицким. – Последнее заме-

чание поразило меня гораздо больше, чем никак не ожидаемое желание помочь и даже, чем загадочный пастор: то, что рядом с Ботаничкой жил отчим Блока, полковник лейб-гренадер, знали отнюдь не все из моих знакомых.

Мы молча пошли в дальний угол сада: синяя роба впереди, потом пес, которого, вероятно, не отпускали ее запахи, и последней я, уже уступающая настырному бесу любопытства.

Через пять минут перед нами оказалась стена из тех же глянцевиных лопухов, что обожгли мне руки на никласовской даче. Ожоги, кстати, только-только успели пройти. Я невольно придержала Амура.

– Ничего страшного, – спокойно сказал странный работяга, вытягивая, тем не менее, из кармана яркие фирменные рукавицы, – собаке пупырь не опасен, а для вас мы сделаем вот так. – И ловким движением руки он на несколько мгновений открыл мне проход в теплом зеленом полумраке, на другой стороне которого оказалась крошечная калитка. – Толкните, она не заперта, свинушка¹ даже снаружи прикрывает ее вполне надежно. – Мы нырнули, а когда я обернулась, чтобы поблагодарить, то не увидела ничего, кроме тяжелых листьев на ребристых колонках стеблей. На другой стороне улицы действительно виднелось юношеское жилище Блока.

– Дивные дела творятся у нас, правда, Амурушка? Нам с тобой подарили еще одну маленькую тайну, даже две, и мы ими ни с кем больше не поделимся, согласен? – Но Амур уже нетерпеливо рвался к проходившей по набережной далматинке, чей пятнистый род был метко прозван острыми на язык собачниками «петмоллом».

¹ Другое название борщевника.

5

Мы еще несколько раз появлялись в Саду, не прибегая к заветной калиточке, но никого больше не встретили. Я тщетно искала на табличках название букшбом и бесплодно прошлась пару раз по горкам, а вскоре зарядили дожди, и вылазки наши прекратились сами собой. Я ничего не рассказала Владиславу, полагая, что ему неприятно будет воспоминание о собственной глупости, да и сам инцидент не заслуживал обсуждения. А история про ловца плантов в отрыве от предыдущего и вовсе выглядела идиотской. Но, пусть и не желая признаваться себе в намеренности своих маршрутов, я пару раз все же прошлась мимо злосчастной клумбы – увы, она уже пестрела цветами и не требовала ничьего присутствия. Я понимала, что все это бред, но хорошо знала и то, что самое интересное зачастую рождается именно из бреда. Пользуясь полной свободой собачников в разговорах, я поинтересовалась, не знает ли случайно кто из них такого черноволосого бородатого дядьку со псом невероятной красоты и, якобы, запамятованной мною породы. Про то, что я забыла породу мне, как неофитке, даже поверили, но про хозяина ничего не знали и хором уверили меня, что, соответственно, такового и нет в природе. Я с радостью с этим согласилась, тем более что приближался сороковой день, и меня уже задергала прокуратура, безнадежно выяснявшая, кому мог вдруг помешать живший чуть ли не анахоретом Никлас.

Над городом звенели веселые грозы, ненадолго оживляя так быстро устававшую городскую зелень. Гуляя с Амуром и уже не опасаясь его побега, я подолгу смотрела на какие-то чахлые травинки и корявые кусты, испытывая перед ними тихую вину даже не за то, что ничем не могу им помочь, как помогаю собаке, но за то, что они так и умрут безмянными и неназванными, а значит, и не существовавшими вообще. Сознание вины, не отпускавшее меня с того жаркого утра, когда я приехала к Никласу на дачу и почему-то острее всего ощущавшееся в том, что я так и не спросила у него названия диковинных лопухов, теперь, после того, как они столь неожиданно были узнаны, превратилось в серую тоску безразличия и беспомощной любви к затоптанным и загаженным городским растениям. Заметив, что как-то раз я принесла домой и поставила на кухне букетик неизвестной пыльной травки, Владислав стал покупать стильные букеты со множеством прихотливо-кружевной зелени.

– А ты знаешь, как называется это узорчье? – следуя своим настроениям, поинтересовалась я и тут же услышала в ответ ожидаемое:

– Нет. – Я отвернулась, стыдясь признаться себе, что прелесть букета ушла. – Да, я понимаю, это ужасно обидно. Знающий имя владеет вещью. Больше, чем вещь – миром. Что толку в блеске моих статей, если, услышав в лесу птицу, я не могу назвать ее, а, увидев в поле растение – не назову и его? Я нищий, Варенька, сознающий себя твоим даром – и только. – На мгновенье сердце у меня стало мягким и влажным, как губка, но Владислав тут же перебил себя сам: – Впрочем, все это я уже говорил. Ты поедешь на кладбище двадцатого?

– Нет. Я хотела поехать сразу домой, к его матери.

При этих словах он как-то странно дернулся и произнес в сторону:

– Наверное, она здорово постарела? Таким женщинам нельзя иметь сыновей.

Я прикусила губы: вопрос о сыне был самым большим для нас вопросом. Навсегда, казалось, сожженный в пламени наших страшных ночей, он все восставал, как феникс, при малейшей возможности. На улицах я смотрела на многочисленные произведения не отягощенной духом плоти с такой неприкрытой и жадной ненавистью, что мамы инстинктивно старались побыстрее пройти мимо или, по крайней мере, отвернуть от меня своих чад. В том зеркальном мире, где жили мы с Владиславом, детей, а тем более сыновей, быть действительно не могло и не должно было. Однако мой плоский узкий живот уже давно приносил мне самые изысканные эротические наслаждения, с которыми порой не могли сравниться никакие иные ласки.

– Смею тебя уверить, она выглядит не хуже, чем всегда.

– В таком случае я не перестаю удивляться вашему антагонизму, – сухо подытожил Владислав и, неожиданно смяв букет, выкинул его в ведро. – Мои соболезнования еще раз.

До сорокового дня оставалось совсем немного, а я, отвлекаемая собакой и этой шемящей жалостью к траве, все не могла сосредоточить усилия на том, чтобы успеть силой своей вины, своего желания, наконец, силой темной своей веры, еще раз обрести Никласа и сказать ему, что никто в жизни не был мне нужен так, как он, и что багровый пожар Владислава даже теперь не может высушить даруемой им, Никласом, прозрачной и тихой родниковой струи. Уже подходя к холодному сталинскому дому, уже поднимаясь по гулкой лестнице, я все надеялась, что сейчас задержу дыхание и протяну руку, и, пусть всего лишь на одну смертную минуту, увижу на высоком подоконнике, пусть невидимую другим, зато теперь только мою высокую сутулую фигуру, падающие на лицо пепельные кудри... Ах, если б за рекой не ждало меня живое существо, если б дом этот не убивал тайну правильностью и пустотой пространства, а был живущим своей жизнью старинным особняком, если б сердце было открыто... если б на мои шаги не выскочил из квартиры никласовский одноклассник, балагур и бабник Данька Дах и не потянул меня вместо третьего этажа на четвертый. Там, секунду постояв, прижавшись лбом к моему лбу, он резко оторвался и, зло выматерившись, сказал:

– Представляешь, эта сука умудрилась затащить к себе в постель Ермолаева, и он еще смел прийти сюда, как ни в чем не бывало! Я подумал, что лучше сказать тебе сразу, чтобы ты сама не нарвалась... Кстати, уже шесть, а она еще не соизволила появиться, старик там один отдувается...

Ермолаев тоже был их одноклассником.

– Я уйду, – беззвучно ответила я. – Я не могу. Но вы... Может быть, ей так легче, Данька?!

Он тяжелой рукой скульптора тряхнул меня за плечо.

– Опомнись, Варька. Вон у меня девчонке тринадцать, так, значит, случись с ней что, я пойду забываться с ее подружкой?

– Это не то, не то, – бормотала я, все пытаюсь вспомнить рослого бесцветного Ермолаева, из которого, при ее желании и умении, мать Никласа могла бы, наверное, вылепить что угодно – даже убогое подобие собственного сына. – Амур у меня, – я уцепилась за единственную в этот момент реальность. – Я его не отдам... он настоящий! – и уже ничего не слыша, я бросилась вниз.

Выбежав на аллею, полную в этот предзакатный час совочков и колясок, я остановилась и прислонилась к какому-то дереву, листья которого были болезненно шершавы даже на вид. Что ж, мать Никласа не побоялась перейти черту. Но когда? Когда? Смерть ли ее мальчика развязала эти ухоженные полные руки? Или именно они и помогли ему уйти? И чем еще была я со своими будущими снами и властвованиями, когда она бросала его на долгие месяцы по детским санаториям, когда она с улыбкой расстраивала его возможные женитьбы – перед моими глазами одиноким мотыльком промелькнул белый тюлевый веночек его первой невесты, так и пожелтевший невостребованным на пустом подоконнике, – когда она демонстративно занималась любовью чуть ли не в присутствии сына? Но все же при известии о смерти Никласа я чувствовала ее вину гораздо острее, чем теперь, вину, пусть уже и подтвердившуюся столь чудовищным цинизмом. И, значит, тогдашние мои знания и действия полностью обретали подлинный смысл. И, значит, надо было вернуться домой и немедленно рассказать Владиславу, каким именно способом я продлила нашу любовь и нашу жизнь. Надо было заставить себя оторваться от спасительно-теплой древесной коры и шагнуть на зыбкую аллею, кишашую детьми. Я сделала несколько шагов, отнявших, как в страшном сне, бесконечно много времени, и внезапно увидела впереди спасительный круг: напротив через узкий проезд сидела у магазина воплощенная форма, страсть императоров и поэтов – медноблещущий ирландский сеттер. Я любила эту породу с детства, с тех самых пор, когда долг и страсть закружили во мне свой про-

клятый хоровод, заключенный уже в самом моем имени... Варенька, родинка-уродинка, исполнила долг, не исполнив страсти, а милый Мишель попробовал забыть про него, расплатившись самым щемящим в нашей литературе «Пускай она поплачет... Ей ничего не значит»... любила именно за это даже внешне проявленное сочетание высшего назначения и ликующего огня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.